

Ежи Фарино

## Две модели лирического «я» у Лермонтова\*

При более-менее внимательном обследовании лермонтовских лирических текстов нельзя не заметить одной небезынтересной их особенности: в некоторых текстах лирическое «я» строится по законам, так сказать, общеромантическим, в других же — эта общеромантическая структура «я» сильно нарушена и создает впечатление совершенно иного типа лирического «я». Эти два разных построения «я» в дальнейшем мы будем называть условно «моделью I» и «моделью II». Хронологических границ между этими двумя моделями «я» у Лермонтова нет. Однако более широкий литературный контекст заставляет нас видеть в модели I некий отправной, исходный момент, а в модели II — если не следствие, то по крайней мере значимое (хотя, быть может, и не сознательное) отклонение. Не забегая вперед, рассмотрим поочередно обе указанных модели.

### Модель I

1.0. Самая элементарная, исходная общеромантическая концепция личности и ее бытия легче всего опознается у Лермонтова в стихотворении «Ангел»:

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел;  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.  
  
Он пел о блаженстве безгрешных духов  
Под кущами райских садов;  
О Боге великом он пел, и хвала  
Его непритворна была.  
  
Он душу младую в объятиях нес  
Для мира печали и слез;  
И звук его песни в душе молодой  
Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,  
Желанием чудным полна;  
И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.<sup>1</sup>

Мир разделен тут на две сферы — небесную и земную, противопоставленных друг другу по ряду взаимоисключающихся признаков: «блаженство ↔ печаль и слезы»; «тихая, святая песня ↔ скучные песни земли». Аналогично распадается на две сферы и бытие «души молодой»: на пребывание в блаженстве «Под кущами райских садов» и в мире «печали и слез».

Но наиболее интересно и показательно строится в данном тексте земное пребывание души. Прежде всего отметим факт, что «душа» сохраняет память о «внеземном» мире. Содержание же этой памяти и ее форма даны тут неоднозначно. «Душе» запомнилось не само ее прежнее внеземное бытие, а пение ангела, причем в виде лишь «звука» (а не «слов»: «И звук его песни в душе молодой Остался — без слов, но живой»). Далее: содержанием («словами») песни ангела было «блаженство безгрешных духов Под кущами райских садов» и хвала «Бога великого». Рай и Бог (как предмет памяти «души»), таким образом, опосредствованы тут двояко: тем, что их идея «изложена» ангелом, и тем, что «душе» запомнился лишь «звук», а не «слова». Легко поэтому предположить, что такая «память души» значительно ближе к категории «интуиции» и «предчувствия», чем к категории прямого воспоминания. Видимо, не случайно в последней строфе речь идет о «желании чудном», а не о воспоминании как таковом.

Попавшая в земной мир и обладающая предчувствием иного мира, «душа» наделяется тоской по этому иному миру и разладом с миром земным. Теперь ей свойственна устремленность от земли в иной мир и к иному своему облику («И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна; И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли»).

С точки зрения читателя текста, знающего всю историю «души», ее устремленность позволительно толковать как устремленность в прошлое, в свое прежнее инобытие. С точки зрения самой души, пребывающей на земле, ее устремленность может читаться как устремленность в будущее («И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна», где в подчеркну-

тых словах угадывается элемент ожидания). Обе эти интерпретации уравновешиваются (уже проанализированной) структурой опосредованной памяти «души»: в ней ведь объединяются и неясное, смутное воспоминание («звук», а не «слова») и предчувствие. А этим самым разница между прошлым и будущим снимается. Существенно, видимо, вообще стремление во внеzemное, вечное.

Итак, «душе» тут характерно: разлад с земным бытием; внутренняя раздвоенность на земное обличье и идеальное иnobытие; устремленность к неземному, а в итоге — к своему изначальному иnobытию.<sup>2</sup>

1.1. Изложенный инвариант в таком чистом виде осуществляется довольно редко (и не только у Лермонтова, но и у многих других поэтов). Зато повсеместно мы сталкиваемся с его вариациями и следствиями.

Разлад с земным бытием получает вид разлада с ближайшим окружением, актуальной ситуацией и т. п.; внутренняя раздвоенность — на «актуальный» и «давний» либо «будущий»; устремленность к неземному получает вид устремленности в иное «желательное» место и состояние, чаще всего — собственное давнее.

На сюжетном уровне такая устремленность получает форму мечтаний, воспоминаний, снов, забвений и т. п., т. е. внепространственных и вневременных путешествий.<sup>3</sup>

А вот несколько самых очевидных примеров из Лермонтова: «Сонет» (с. 171):

Я памятью живу с увядшими мечтами,  
Виденья прежних лет толпятся предо мной,  
И образ твой меж них, как месяц в час ночной  
Между бродящими блестает облаками.

«Как часто, пестрою толпою окружен ...» (с. 254):

Как часто, пестрою толпою окружен,  
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,  
[...]  
Мелькают образы бездушные людей,  
Приличьем стянутые маски,  
[...]

Наружно погружась в их блеск и суету,  
Ласкаю я в душе старинную мечту,  
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне  
Забыться, — памятью к недавней старине  
Лечу я вольной, вольной птицей;  
И вижу я себя ребенком, и кругом  
Родные все места [...]<sup>4</sup>

1.2. Раздвоенность героя, в том числе и лирического «я», на актуальный образ и некое идеальное и nobытие ведет к тому, что у такого героя или «я» возникает ощущение своей неполноты, а за ним — стремление вернуть эту полноту и воссоединиться со своим и nobытием (или же избавиться от актуального состояния, возвращаясь к исходному). В такой структуре и nobытие играет роль центра и цели, организующих личность.<sup>5</sup>

Самая существенная его черта — нетождественность «я» (герою) актуальному. Помещаться же оно может либо в идеальном, внеземном измерении; либо в прошлом самого «я» (героя); либо в иной личности, чаще всего — возлюбленной, которая в свою очередь тоже подвергается раздвоению на «ты» актуальную и «ты» давнюю, являющуюся носителем самого давнего «я»; либо в сфере искусства.<sup>6</sup>

В случае локализации организующего центра в возлюбленной, любовь строится как разрыв, превращаясь в любовь «тебя прежней», а не актуальной. Наличие давней взаимной любви «я» и «ты» манифестируется, как правило, структурностью «я» и окружающего его мира. Отсутствие же взаимности приводит «я» к угнетенному, а мир — к аморфному состоянию.

Такая модель «я» и такое изображение любви во всей своей полноте реализуются у Лермонтова в стихотворениях «Я не люблю тебя; страсти ...» (с. 118), «Расстались мы, но твой портрет ...» (с. 220), «Нет, не тебя так пылко я люблю ...» (с. 314).

1.3. По этой же модели построен и «Сон» (с. 306), но тут она осуществляется не полностью:

В полдневный жар в долине Дагестана  
С свинцом в груди лежал недвижим я;  
Глубокая еще дымилась рана,  
По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;  
Уступы скал теснились кругом,  
И солнце жгло их желтые вершины  
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями  
Вечерний пир в родимой стороне.  
Меж юных жен, увенчанных цветами,  
Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,  
Сидела там задумчиво одна,  
И в грустный сон душа ее младая  
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана:  
Знакомый труп лежал в долине той;  
В его груди, дымясь, чернела рана,  
И кровь лилась, хладеющей струей.

Обсуждаемая модель строения «я» тут налицо: «я» видит во сне самого себя, но не непосредственно, а как видение чужого сна, т. е. себя, но инкорпорированного в героиню текста. «Я», таким образом, тут раздвоен на «я» актуальный, и «я» снявшийся героине. Аналогично раздвоена и героиня текста: на реальную «юную жену» и погруженную в сон «душу». Закономерна тут и сама ситуация «сна» — как одного из вариантов обхода (преводления) эмпирического пространства и времени.

Необычность данной ситуации заключается в другом: в явном нарушении принципа нетождественности «я» актуального и его инобытия — «я» снявший и «я» снявшийся здесь абсолютно тождественны (ср. строфы I и V). А это — если следовать логике модели I — означает, что у данного «я» нет своего инобытия, нет организующего центра, нет точки устремления, что в свою очередь указывало бы на крайний пессимизм (продемонстрированный тем сильнее, что вместо ожидаемого инобытия дан тут «труп» героя).

1.4. Не делая пока никаких выводов, рассмотрим еще один текст — «Сосна» (с. 301):

На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна  
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  
Одeta, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,  
В том крае, где солнца восход,  
Одна и грустна на утесе горючем  
Прекрасная пальма растет.

Анализируя подлинник Гейне и переложение Лермонтова, Щерба детально разбирает лермонтовские отклонения от оригинала и приходит к следующим выводам: «Из проделанного лингвистического анализа следует совершенно недвусмысленно, что сущность стихотворения Гейне сводится к тому, что некий мужчина, скованный по рукам и ногам внешними обстоятельствами, стремится к недоступной для него и тоже находящейся в тяжелом заточении женщине, а сущность стихотворения Лермонтова — к тому, что некое одинокое существо благодушно мечтает о каком-то далеком, прекрасном и тоже одиноком существе.» И далее: «Возвращаясь к Лермонтову, мы видим, таким образом, что мотив скованности человека отсутствует у него совершенно. Мотив одиночества, столь свойственный лермонтовской поэзии, несомненно налицо, но и он не развит и во всяком случае не стоит на первом плане; зато появляется совершенно новый мотив: мечтания о чем-то далеком и прекрасном, но абсолютно и принципиально недоступном, мечтания, которые в силу этого лишены всякой действенности.»<sup>7</sup>

Процитированного прочтения оспаривать не приходится. И тем не менее возникает соблазн спросить: если действительно «Сосна» реализует модель «мечтаний о чем-то далеком и прекрасном», то почему в таком случае, позволяя себе такие серьезные отступления от Гейне, сохраняет Лермонтов неблагоприятные условия предмета мечтаний — пальмы?

На самом деле: сохраняются ее одиночество и грусть, пустыня, и «утес горючий» (хотя несколько и модифицированно). А в случае сосны придается ей более сказочный вид: вместо «белым покровом облегают ее лед и снег»<sup>8</sup> Лермонтов пишет «Одeta, как ризой, она».

Легко заметить, что обе эти операции (как и ряд других — хотя бы отказ от сохранения грамматического рода) решительно уравнивают сосну и пальму: одна и другая «прекрасны», одна и другая «одиноки», одна и другая помещены в «неблагоприятные» условия. В силу такого принципиального уравнения понимание сосны как «мечтаний о чем-то далеком и прекрасном» звучит мало вероятно: пальма не может тут быть желаемым «иностьюем» сосны — став пальмой, сосна ничего не обретает.

Сама ситуация «сосна–пальма» и «сновидение сосны» как нельзя лучше реализует модель I. Но решение этой ситуации очевиднейшим образом нарушает основной принцип этой модели — принцип нетождества. Думается, что данное нарушение (уподобление или даже отождествление «сосны» и ее иностия — «пальмы») введено Лермонтовым сознательно, и что оно аналогично нарушению в тексте «Сон» и выражает такой же трагический смысл (см. 1.3).

1.5. Подчеркнутое в стихотворениях «Сон» и «Сосна» одиночество из-за тождественности героев и их иностий (из-за их тавтологичности) можно читать и как отсутствие организующего центра, точки устремления, как отсутствие всякого выхода из актуального состояния «я» (героя), как обреченность.<sup>9</sup>

А такое истолкование заставляет нас предположить у Лермонтова наличие совершенно иной, противоположной модели личности («я» или героя).

## Модель II

2.0. Отсутствие иностия (желаемого идеального состояния «я») должно отразиться как на внутренней структуре «я», так и на его временном и пространственном окружении, а прежде всего — на содержании мечтаний, воспоминаний, снов, на содержании внепространственных и вневременных путешествий (см. 1.1), на отношении к неземным инстанциям, и т. п.

2.1. В стихотворении «И скучно и грустно» (с. 256) с предельной четкостью демонстрируется модель I как в отношении к самому «я», так и в отношении «я — любимая»:

И скучно и грустно, и некому руку подать  
[...]

Любить ... Но кого же? ... на время — не стоит труда,  
А вечно любить невозможно.  
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:  
И радость, и муки, и все там ничтожно ...

Упоминание о любви и о заглядывании вовнутрь себя поставлены тут не случайно — по модели I это варианты одного и того же явления: обнаружения своего желаемого инобытия. Здесь же не обнаруживается ни одно ни другое: нет никого достойного любви («Любить ... Но кого же? ...»), и все «ничтожно» внутри самого «я». Крайне интересно и то, что память о модели I поддерживается еще поиском в себе не актуального, а прошлого, и что у данного «я» нет и достойного внимания прошлого: «там прошлого нет и следа: [...] и все там ничтожно».

Во многих других текстах указанные компоненты модели II появляются разрозненно. Так, в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой ...» (с. 168) говорится:

В душе моей, как в океане,  
Надежд разбитых груз лежит.

А в стихотворении «Мое грядущее в тумане ...» (с. 322) —

И, полный волею страстей,  
Я будущность свою измерил  
Обширностью души своей;  
С святыней зла во мне боролось,  
Я удушил святыни голос,  
Из сердца слезы выжал я;  
Как юный плод, лишенный сока,  
Оно увяло в бурях рока  
Под знайным солнцем бытия.

Оба эти текста любопытны в двух отношениях. Во-первых, в них ярко выражено самосознание лирического «я», что означало бы, что исследуемая нами модель II — не случайность у Лермонтова, а является своего рода его «программу». На такую программность указывает, во-вторых, факт открытого осознанного противопоставления себя другим романтикам (в случае первой цитаты — Байрону), и другим моделям (в случае второй цитаты позволительно видеть антитезис собственной лермонтовской модели, осуществленной хотя бы в «Ангеле» — см. 1.0).

2.2. Как уже было сказано в 2.0, и согласно наблюдениям в 2.1, попадание в прошлое должно терять тут всякий смысл и, строго говоря, исключаться. Тем временем мотив путешествия в прошлое выступает у Лермонтова не так уж редко. И, как правило, с отрицательным результатом. Приведем два примера: «Кавказу» (с. 43) —

Нет! прошлых лет не ожидай,  
Черкес, в отчество свое:  
Свободе прежде милый край  
Приметно гибнет для нее.

и «Песнь барда» (с. 54–55) —

Я долго был в чужой стране,  
Дружин Днепра седой певец,  
И вдруг пришло на мысли мне  
К ним возвратиться наконец.  
Пришел — с гуслями за спиной —  
Былую песню засиграл ...  
Напрасно! — князь земли родной  
Приказу ханскому внимал ...  
[...]  
Вдруг кто-то у меня спросил:  
«Зачем я часто слезы лью,  
Где человек так вольно жил?  
О ком бренчу, о ком пою?»  
Пронзила эта речь меня —  
Надежд пропал последний рой,  
На землю гусли бросил я  
И молча раздавил ногой.

Не думается, что надо особо доказывать, что в данных случаях намеренно нарушается именно принцип модели I, и что это нарушение используется и как полемика с постулатами модели I, разочарование в них, и как выражение исключительного трагизма (бард ведет себя по правилам модели I, но она оказывается абсолютно бездейственной, уже не актуальной).

Выдержка из стихотворения «Кавказ» дополнительно сни-  
мает разницу между прошлым и будущим (см. конструкцию:  
«прошлых лет не ожидай»), и подсказывает: в модели II ме-  
няется также и представление о будущем. А вот пример, где го-

ворится именно о будущем — «Никто моим словам не внемлет ... я один» (с. 321):

Никто моим словам не внемлет ... я один.  
День гаснет ... красными рисуясь полосами,  
На запад уклонились тучи, и камин  
Трещит передо мной. Я полон весь мечтами  
О будущем ... и дни мои толпой  
Однообразно проходят предо мной,  
И тщетно я ищу смущенными очами  
Меж них хоть день один, отмеченный судьбой!

2.3. Согласно модели I будущее и прошлое либо вообще недифференцированы из-за того, что точка устремления «я» локализуется в «вечности», вне времени, т. е. вне эмпирической темпоральной стрелы, либо если эти категории даже и выступают разрозненно, то будущее опять же помещается где-то вне обычного потока времени и далеко впереди (до него нельзя «дожить»), куда можно попасть лишь при помощи предсказаний, пророчеств, всякого рода записей (особенно художественных) и «памяти» грядущих поколений. При всем этом необходимо должно выполняться одно фундаментальное условие: «я» (или герой), стремящийся попасть в будущее должен быть носителем или создателем высоких, непреходящих ценностей, достойных впоследствии внимания и памяти живущих в будущем. А этим самым с категорией будущего тесно связана в данной модели категория ценностного и этического порядка.<sup>10</sup>

2.3.1. Недифференциированность прошлого и будущего претерпевает в модели II очень характерные изменения, недопустимые в модели I.

В первую очередь предположительный невременной локус точки устремления подвергается очевидному расчленению на два: прошлое и будущее, а иногда и третье — ближайшее пространственное окружение.

Причина такого расщепления понятна. В модели I наличие «центра» делает выбор направления устремленности однозначным — либо устремленности назад, либо устремленности вперед, либо мечтаний, легко объединяющих оба направления, и устремляющих за пределы насущного.

Модель же второго типа основана на поиске такого центра,

но поиск невозможен без последовательного «обшаривания» всех возможных направлений в отдельности, а это как раз и заставляет разбивать обыскиваемое время на два отдельных, существующих одновременно (будущее и настоящее).

И тут возникает любопытнейший парадокс (с точки зрения модели I): свободная обозреваемость времени в обоих вычлененных направлениях сразу, как в стихотворении «К\*\*\*») («Не думай, чтоб я был достоин сожаленья ...» — с. 52):

Гляжу назад — прошедшее ужасно;  
Гляжу вперед — там нет души родной!

И именно эта обозреваемость выдает место нахождения «я» — он не может пребывать на самой оси «сзади — впереди» («прошлое — будущее»), а как раз вне ее (либо ниже, либо выше), что в свою очередь обозначает, что данная модель — производное от модели I, а не нечто к ней целиком безотносительное.<sup>11</sup>

У Лермонтова временной аспект модели II полностью осуществлен, например, в стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью ...» (с. 229):

Гляжу на будущность с боязнью,  
Гляжу на прошлое с тоской  
И, как преступник перед казнью,  
Ищу кругом души родной;  
Придет ли вестник избавленья  
Открыть мне жизни назначенье,  
Цель упований и страстей,  
Поведать — что мне Бог готовил,  
Зачем так горько прекословил  
Надеждам юности моей.

Земле я отдал дань земную  
Любви, надежд, добра и зла;  
Начать готов я жизнь другую,  
Молчу и жду: пора пришла;  
Я в мире не оставил брата,  
И тьмой и холодом объята  
Душа усталая моя;  
Как ранний плод, лишенный сока,  
Она увяла в бурях рока  
Под знайным солнцем бытия.

---

В одном и том же тексте и один и тот же «я» обозревает три сферы сразу: будущее («Гляжу на будущность»), прошлое («Гляжу на прошлое») и ближайшее окружение («Ищу кругом души родной»), ни в одной из них не находя точки опоры (соответственно: «с боязнью»; «с тоской» и «как преступник перед казнью»). Отсутствие опорного центра исключает также и возможность попадения «я» в будущее («Я в мире не оставлю брата») — а сам «я» лишен всякой ценности (он «Как ранний плод, лишенный сока»).

Данный текст интересен еще и тем, что «я» в нем пассивен, аморфен («Молчу и жду»; «И тьмой и холодом объята Душа усталая моя»), с одной стороны, а с другой — как будто смотрит на самого себя с точки зрения модели I и ее этики. Первое угадывается в словах «Придет ли вестник избавленья Открыть мне жизни назначенье, Цель упований и страстей»; «Начать готов я жизнь другую». Второе — в словах «как преступник перед казнью»: сравнить себя с преступником может лишь такой «я», которому известна именно модель I с ее этикой долга, и который этого долга не выполнил.

2.3.2. Предполагаемое моделью I попадание «я» в будущее свойственно и лермонтовскому «я». Например, в стихотворении «В альбом» (с. 37):

Пишу, пишу рукой небрежной,  
Чтоб здесь чрез много скучных лет  
От жизни краткой, но мягкой  
Какой-нибудь остался след.

Однако же, как мы уже говорили в 2.3, попасть в будущее можно лишь при одном условии — будучи носителем высоких непреходящих ценностей (в процитированном фрагменте этому соответствует категория мягкости). Быть же носителем ценностей — значит обладать организующим центром, быть приобщенным к вневременному (см. также примечание 5). Отсутствие организующего центра исключает и попадание в будущее.

Модель I и модель II развили это свое свойство в двух прямо противоположных направлениях. Модель I вырабатывает «посредников», гениев, пророков, славу, память. Модель II наоборот — возмездие, презрение, забвение. А вот несколько характерных примеров: «Предсказание» (с. 53) —

Настанет год, России черный год,  
[...]  
В тот день явится мощный человек,  
И ты его узнаешь — и поймешь,  
Зачем в руке его булатный нож:  
И горе для тебя! — твой плач, твой стон  
Ему тогда покажется смешон;  
И будет все ужасно, мрачно в нем,  
Как плащ его с возвышенным челом.

«Дума» (с. 237) —

Толпой угрюмою и скоро позабытой  
Над миром мы пройдем без шума и следа,  
Небросивши векам ни мысли плодовитой,  
Ни гением начатого труда.  
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,  
Потомок оскорбит презрительным стихом,  
Насмешкой горькою обманутого сына  
Над промотовшимся отцом.

«На буйном пиршестве задумчив он сидел ...» (с. 252):

Он говорил: «Ликуйте, о друзья!  
Что вам судьбы дряхлеющего мира? ...  
Над вашей головой колеблется секира,  
Но что ж! ... из вас один ее увижу я.»

Таким образом, категория будущего в модели II не столь противостоит соответствующей категории в модели I, сколько является ее разновидностью. И возмездие, и презрение и насмешка потомка, и забвение расцениваются тут как неизбежное и справедливое наказание. А следовательно — и в данной модели отношение к будущему покоится на представлении о нем как о какой-то высшей моральной инстанции, как непререкаемого авторитета, судии.

2.4. Модель II противопоставлена модели I, но одновременно она и родственна ей.

Противопоставление заключается в следующем. Если модель I способна порождать героев (или «я») высшего ранга, типа пророков, гениев, исключительные индивидуальности, личности,

приобщенные к непреходящему, вечному, то модель II порождает аналогичные им и того же ранга личности, но с противоположным знаком — не пророков, а демонов, не гениев созиания, а гениев отрицания, тоже приобщенных к вечности, но не утверждающей, а получающей вид разрушения и хаоса, мрака, зла.

Возникновение таких героев и таких «я» зиждется на все том же отсутствии точки устремления, но на этот раз не только в прошлом, будущем, в ближайшем окружении (т. е. в душе другого человека), но и в божественном начале. Вот, думается, пример первого шага в этом направлении — «Стансы» (с. 61):

Чем успокоишь жизнь мою,  
Когда уж обратила в прах  
Мои надежды в сем краю,  
А может быть и в небесах? ...

Шаг, который ведет к образованию категории прямого, зеркального антитезиса Бога–демона: «Мой демон» (с. 26):

Собранье зол его стихия.  
Носясь меж дымных облаков,  
Он любит бури роковые,  
И пену рек, и шум дубров.  
Меж листьев желтых, облетевших  
Стоит его недвижный трон;  
На нем, средь ветров онемевших,  
Сидит уныл и мрачен он.  
Он недоверчивость вселяет,  
Он презрел чистую любовь,  
Он все моленья отвергает,  
Он равнодушно видит кровь,  
И звук высоких ощущений  
Он давит голосом страстей,  
И муга кратких вдохновений  
Страшится неземных очей.

Нет необходимости доказывать, что данный демон атрибутирован всеми теми признаками, которые присущи и широко понимаемому божеству, но с обратным знаком.

Родственность модели II и модели I заключается в свою очередь в том, что обоим вариантам исключительного героя (в том числе Бога и демона) противопоставляется один и тот же третий — тривиальная, пошлая, низкая толпа, довольствующаяся земным, мимолетным бытием. Смотри хотя бы текст «На буйном пиршестве задумчив он сидел ...» (с. 252):

На буйном пиршестве задумчив он сидел  
Один, покинутый безумными друзьями,  
И в даль грядущую, закрытую пред нами,  
Духовный взор его смотрел.  
[...]  
Он говорил: «Ликуйте, о друзья!  
Что вам судьбы дряхлеющего мира? ...  
Над вашей головой колеблется секира,  
Но что ж! ... из вас один ее увижу я.»

2.5. Все предложенные здесь наблюдения над лирикой Лермонтова свидетельствуют об одном: выработанная Лермонтовым модель II строится как антитезис модели I, а точнее — как модель I, но с обратным знаком. В этом смысле модель I может считаться первичной и исходной, а модель II — производной от нее.

Для самого же Лермонтова существеннее модель II, тогда как модель I вводится как своего рода фон, на котором следует читать модель II.

О том, что Лермонтову свойственнее модель II, свидетельствуют и весьма показательные отклонения от модели I даже в тех случаях, когда его тексты строятся как будто именно по законам модели I. Вот несколько характернейших примеров. «Чаша жизни» (с. 89):

Мы пьем из чаши бытия  
С закрытыми очами,  
Златые омочи края  
Своими же слезами;  
  
Когда же перед смертью с глаз  
Завязка упадает  
И все, что обольщало нас,  
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста  
Была златая чаша,  
Что в ней напиток был — мечта,  
И что она — не наша!

«Люблю я цепи синих гор ...» (с. 153–154):

Я мчался на лихом коне  
В пространстве голубых долин,  
[...]  
Я чувствовал, как конь дышал,  
Как он, ударивши ногой,  
Отбрасывал землей;  
И я в чудесном забытьи  
Движенья сковывал свои,  
И с ним себя желал я слить,  
Чтоб этим бег свой ускорить;  
И долго так мой конь летел ...  
И вокруг себя я поглядел:  
Все та же степь, все та же луна:  
Свой взор ко мне склонив, она,  
Казалось, упрекала в том,  
Что человек с своим конем  
Хотел владычество степей  
В ту ночь оспаривать у ней!

И из уже цитированного (см. 1.1) «Как часто, пестрою толпою  
окружен ...» (с. 254–255):

Лечу я вольной, вольной птицей;  
И вижу я себя ребенком, и кругом  
Родные все места [...] [...]  
Когда же, опомнившись, обман я узнаю  
И шум толпы людской спугнет мечту мою,  
На праздник незванную гостью,  
О, как мне хочется смутить веселость их  
И дерзко бросить им в глаза железный стих,  
Облитый горечью и злостью! ...

Характерное для модели I погружение в мечту, сон, прошлое,  
понимаемое как приобщение к изначальному идеалу, не пред-

полагало возвращения в реальность. Что и понятно: такое возвращение ставило бы под вопрос сам этот идеал, и переводило бы его в ранг ложного, кратковременного вымысла (а не идеальной, сопричастной вечному реальности).

Совершенно иначе поступает Лермонтов: в этой же модели I появляется у него именно возвращение к обыденному миру, а наличие вневременного идеала превращается в обман, временное заблуждение, иллюзию.

Таким образом, лермонтовский поэтический язык постоянно строится на нарушениях языка модели I. И тем не менее, это все еще язык романтизма, а не поэтики, которая бы противостояла романтизму.<sup>12</sup>

Варшава, февраль–март 1977

\* Текст лекции, прочитанной автором в Институте славянских и балтийских языков Стокгольмского университета 10 марта 1977 г.

1. М. Ю. Лермонтов, *Избранные произведения в двух томах. Том I: Стихотворения и поэмы*, Москва 1963, с. 103. В дальнейшем все ссылки на это издание указаны в тексте непосредственно после заглавий.
2. Более детально эта разновидность модели разработана в следующих моих статьях: *К проблеме кода лирики Пушкина (Лирическое «я», время и пространство)*, в сборнике: *O poetyce Aleksandra Puszkiina*, UAM Poznań 1975; *Любовная лирика Пушкина. Семиотический этюд*. «Russian Literature» 6, The Hague–Paris 1974.
- Попутно отметим, что и по выбору христианского мотива и по его решению лермонтовский «Ангел» напоминает наиболее раннюю и наиболее фундаментальную формулу романтизма, согласно которой человеческая душа тоскует по бесконечному. Ср. в изложении Жирмунского исходных идей немецкого романтизма: «[...] только оторванность от единого бесконечного источника есть начало всех страданий души человеческой; оторванность — но рядом с ней стоит и пламенное стремление к бесконечному. Это бесконечное — утерянное счастье, и по нем мы тоскуем. И если возврат к Богу, из Которого мы вышли, — долг, то в нем и высшее счастье, беспредельная радость, бесконечное желаемое души человеческой.» В. Жирмунский, *Немецкий романтизм и современная мистика*, С.-Петербург 1914, с. 97.
3. Сюжетопорождающие особенности модели I более подробно излагаются в моей статье *К проблеме кода лирики Пушкина, ук. соч.*
4. См. также такие тексты, как «Звуки» (с. 130), «Романс» (с. 164), от части «На севере диком стоит одиноко ...» (см. 1.4). Однако же в последнем стихотворении наблюдаются и заметные отклонения от модели I — они оговариваются в 1.4 и 2.5.

5. Категория цели и центра — не только чисто исследовательские абстракции, но и интуитивные или осознанные категории самих романтиков. См., например, у Жирмунского (ук. коч., с. 109–110):

«[...] в жизни и в произведениях Иенских романтиков мы находим [...] идеал человека, до конца проникнутого божественным, и всю жизнь свою строящего сообразно с этим сознанием. Такой человек представляет из себя тот героический тип, который грезится романтикам. Вся жизнь слагается для него в цепь внутренне-обусловленных, одинаково необходимых *событий, в путь*, ведущий к божественной цели. [...] Но и теоретически поднимался первыми романтиками вопрос о героях. Это — люди, нашедшие в себе центр (*den Mittelpunkt*), говорит Фр. Шлегель, т. е. в божественном нашедшие жизненную связь своей личности. Тем самым они являются центром и точкой опоры для других людей, не нашедших своего пути, они отдают себя, жертвуют собой для тех, кого ведут за собой, кому служат ‘посредниками’. ‘Посредник — это тот, кто чувствует в себе божественное и отдает себя на уничтожение, чтобы пророчествовать о божественном, чтобы сообщить его людям и представить в обычаях и действиях, словах и делах’ [цитата по: Fr. Schlegel, «*Ideen*», 44]. [...] Таким героем — вождем и учителем, является магический поэт, созданный верой Новалиса в поэзию, как в откровение божественного — Орфей, Арион [...].

Это учение о героях напоминает преклонение бурных гениев перед сильной личностью; но романтический герой — учитель и пророк — пришел не во имя свое. Он ведет мир и людей к божественному, по предначертанному пути. Он является исполнителем религиозного смысла истории.»

6. Разработку этих вопросов см. в: Ю. М. Лотман, *Анализ двух стихотворений*. В сборнике: III Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы. Кяэрику 10–20 мая 1968. Тарту 1968; а также мою статью *Любовная лирика Пушкина*, ук. соч.

7. Л. В. Щерба, *Избранные работы по русскому языку*, Москва 1957, с. 104 и 105.

8. Буквальный перевод Л. В. Щербы. Там же, с. 101.

9. Это своего рода «душа» из «Ангела», которая бы основательно забыла песню ангела и созерцала бы свое же земное бытие.

Однако простое забвение, равное незнанию об иных возможностях бытия, Лермонтова ясно не устраивает, ибо такое незнание должно было бы давать чисто земное одномерное (уже «реалистическое») «я» или нечто родственное «пошлой толпе».

Лермонтовская же модель покоятся на отрицании актуального состояния с одновременным отсутствием какой-либо точки устремления. И только в таком случае возможен у него трагизм, порождающий в свою очередь прямой (зеркальный) антитезис романтического героя-посредника и его этики (ср. примечание 5) типа «демона» (см. 2.4).

10. См. хотя бы примечание 5.

11. Парадокс заключается еще в том, что обнаружение впереди и сзади (в будущем и в прошлом) положительной точки опоры дало бы два центра, вместо одного (а это окончательно разбивало бы модель I).
12. Так надо понимать и сюжеты крупных вещей Лермонтова, а особенно возврат Мцыри к монастырю. Истолкование поэмы «Мцыри» Корманом как отталкивание от романтизма, с этой точки зрения, мало вероятно: Мцыри действительно рвется в огромный «добрый» мир, но не следует забывать, что, с одной стороны, его путь построен в виде замкнутого круга, а с другой — Мцыри устремлен не столь во внешний «добрый» мир вообще, сколь в свое детство (в родные края, знакомые ему исключительно по детству). См. у Кормана: «В ‘Мцыри’ огромный плохой мир сузился до уровня частной плохой ситуации, в которой находится герой. А за пределами этой ситуации — огромный добрый, реально существующий мир. И в этот мир рвется герой, неистово отвергая плохую ситуацию. То, что в поэзии Козлова было этапом русской поэзии к романтизму, стало в творчестве Лермонтова этапом на пути движения поэта от романтизма. Преодолеваемый романтизм Лермонтова оказался типологически близок неразвитому, неполному, несложившемуся романтизму Козлова.» Б. О. Корман, *Авторское сознание в лирической системе И. И. Козлова (Из истории русского романтизма)*. «Филологические науки» 1975, № 4 (88), с. 46.